

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТЕЦ

Гениального Основателя Вселенской Империи, кроме особо допущенных, никто не знал в лицо. Можно только догадываться, что это лицо время от времени покрывалось щетиной, поскольку тюремный цирюльник брил только раз в неделю. Такая щетина стала модной и на свободе, наряду с татуировкой, ибо на свободе только и мечтают об изысканных причудах вкуса, доступных по-настоящему только в тюрьме.

Несколько слов об особо допущенных. В их среде смена поколений проходила как-то неожиданно, чтобы особо допущенные не успели слишком сблизиться с поколением приговорённых к пожизненному заключению. Считалось, что особо допущенному повезло, если он своевременно переходил в разряд пожизненно заключённых, это было добрым знаком продления жизни.

Особисты были той особой выделки, благодаря которой ведомый ими объект (или субъект?), поглощённый своей творческой деятельностью, не замечал, как один особист сменялся другим. Для ведомого они, таким образом, всегда оставались в одном возрасте, приближающемся к среднему,

никогда его не достигая. Одеты они были в одинаковые мундиры цвета тюремных стен, курили один и тот же недорогой табак и в любую погоду носили сапоги. Основателю иногда смутно казалось, что как только сапоги начинали стаптываться, следовало ожидать, что обладатель новых сапог проявит вспышку интереса к его проекту, как будто ему надо освежить свою стоптанную от хождения по разным местам память. Но что тут удивляться, его проект был столь необычен, что его было непросто изложить даже другим гениям на прогулке, тем более что это строго запрещалось. Не рекомендовалось пытаться и другого гения о сути его гениального проекта, дабы не отклоняться от своего собственного.

Особисты вели документы и составляли отчёты, но они уничтожались так же тщательно, как и велись, чтобы вводить в заблуждение всякого рода врагов, способных выкрасть эти ценные документы. Поэтому всё, что можно сообщить о легендарном Основателе, основано на устном предании, неизвестно как проникшем за пределы того сурового времени, о котором принято говорить, что оно не должно повториться.

Основатель ценил свободу превыше всего, ещё в детстве он освобождал пауков из паутины, поскольку их оцепенелый вид вызывал сочувствие, а мухи и осы бились, попав в тенёта, что вселяло в наблюдателя надежду на их собственноручное освобождение. Он помогал муравьям выбраться за пределы муравейника, ибо ему казалось, что они в плену у собственной суеты. Ему не нравилась зависимость собственной ходьбы от зрения, поэтому он упражнялся в движении вперёд с закрытыми глазами, отчего на его лице с раннего детства остались заметные шрамы. Его не устраивала зависимость головы от ног, оттого и замучила его мечта о полёте, но без крыльев, прикованных к собственному туловищу или к фюзеляжу самолёта, раздражала его и необходимость опоры на спёртый воздух, ибо воздух не беспределен.

Будучи математиком, он уважал знак равенства, равенство углов и сторон приводило его в восторг, но больше всего его восхищала теорема, согласно которой **хрен редьки не слаще**, её доказательству он посвятил немало времени, придя наконец к выводу, что за пределами овощных истин разрастаются дикое поля и леса иерархий, где всякое сравнение **хромает**, в результате он и сам хромал, сорвавшись однажды с дерева, пытаясь вычислить зависимость скорости его роста от веса взобравшегося на него разумного существа.

Что касается братства, то он старался всю свою сознательную жизнь отделить его от панибратства, дабы оно не переходило в хамство, но и близнецов он презирал за вопиющее разукрупнение близости. Но больше всего он страдал от ощущения братства с обратным знаком, под которым подразумевалось нынешнее состояние человечества: небратство. Чем более разрастался и скучивался совокупный организм человечества, тем более он впадал в это небратское состояние, состояние немужественности и неженственности. Основатель породил идею: рассеять вздорное человечество в крошечном пространстве, расселить его по хуторам Вселенной, тогда и пробудится желанная родственная тоска по ставшим далёкими братьям и сёстрам по разуму, по братьям по оружию, растерявшим своих закадычных врагов, по братьям – собратьям по перу, утратившим даже надежду на читателей, поклонников и поклонниц.

Человечество будет расширяться вместе с космосом, краснея за всё возрастающее отчуждение, но когда-то рассеивание достигнет физического предела, и уже не будет знать предела платоническая любовь человечества к себе самому, тогда космос блаженно съёжится до состояния идеального братства!

Забота об этой в принципе русской идее требовала бездны времени и личной неограниченной свободы. Основатель прежде всего поспешил распутать свои семейные узы, это ему удалось, всеобщее непонимание было в этом надёжной опорой. Семья мешала ему думать, а когда он получил невероятную возможность безнаказанно думать, он скоро забыл про свою семью, жену и, кажется, сына. Да, сын, если верить преданию, у него где-то был, но ему счастливый отец предоставил столько свободы, что сын ничего не знал и даже не хотел знать об отце.

Парадоксальным образом это не увязывалось с его мечтой о воссоздании детьми вечно исчезающего мира отцов, более того, физического возвращения ушедших отцов в утраченный ими мир детей. Возможно, путь лежит через жертву: отец жертвует сыном, чтобы сын своим путём нашёл отца! Каков же тогда путь сына?

Но отец пока думал о своём, более близком: как освободиться от уз непреклонного земного тяготения? Думая об этом, Основатель ещё не знал, что на это уйдёт вся его свобода.

Звёздное небо не давало ему покоя с раннего детства, ему страстно хотелось его приблизить к себе, для этого он залезал на деревья, а так как звёзды виднелись только ночью, то он прокрадывался по ночам в сады, отчего принимали его за вора, хватали и начинали пытать, что же он хотел украсть, ведь цветы уже отцвели, а плоды ещё не поспели. Тогда он оправдывался, указывая на звёзды, и его отпускали, одни, полагая, что он очередной безобидный сумасшедший, другие же, чтобы не ввязываться в политику и вяло возделывать свой сад, ибо разговор о звёздах, опасались они, мог затянуть именно в политику.

Бывал он и на крышах домов, где его подозревали уже в краже белья, которое сушилось на чердаке, но, найдя всё в сохранности под его звёздные вопли, его оставляли в покое, сочтя оторванным от жизни лунатиком.

В результате повышенного интереса к небу и неосмотрительного отношения к земле в более сознательный возраст он вошёл прихрамывая, так как падать ухитрился не только с деревьев, но и с крыши. Знакомые и родственники поговаривали, что на самом деле он упал с Луны. Но в зрелом возрасте он уже не карабкался куда-то, а подолгу засиживался в публичных библиотеках, где осиливал сложные книги, которые мало кто до него дочитывал до конца, а то и до середины. Он читал, считал, перечитывал и пересчитывал, рисовал и чертил, некоторые его чертежи и сегодня можно увидеть в музеях рядом с копиями наскальных рисунков первобытного человека.

Он вычислял, насколько должно быть вытянуто шарообразное тело, чтобы в полёте полностью совпадать со своим собственным следом. Какова должна быть скорость космического объекта, чтобы при движении внутри Млечного Пути увлечь за собою все видимые звёзды. Какой толщины должен быть слой космической пыли, чтобы звёзды стали чихать, и как это отразится на уровне интеллигентности земных муравьёв. Позже он делал вычисления по заданию руководства, например: каким должен быть максимальный объём тюремной камеры, чтобы камера прогревалась теплом тела оголённого узника (это пригодилось позже для расчёта оптимального объёма тела космонавта для заполнения кабины пилотируемого корабля), или каково должно быть соотношение площадей тюрьмы и около-тюремного пространства, чтобы выход за пределы тюрьмы расценивался как ущемление свободы (и это пригодилось в период приватизации земного шара).

Его угнетал тот факт, что звёздное небо представляло из себя прежде всего зверинец, и он добивался решения загадки, что это: конфигурация человеческого сообщества ещё не дотягивает до уровня небесного распределения светящихся масс или светящиеся массы ещё не сложились в осмысленную конфигурацию, способную действительно просветить человека. Надо ли настраивать земную жизнь на правильно понятую звёздную, небесную, или так починить небо, чтобы под ним жизнь стала вольготней и ярче?

Один из его последователей – генерал инженерной службы Покровский – начертил проект, как лучше всего Земле свихнуться с привычной орбиты: в центре Антарктиды пробурить скважину, которая станет соплом реактивного двигателя. Надо только выбрать соответствующее светило, к которому надо лететь за недостающим светом и пространством.

Земной шар с реактивным выхлопом в точке Южного полюса можно обнаружить на полях одной из рукописей Основателя, хранящейся в тюремных архивах.

Почему именно в тюремных?

Известно, что Основатель в своём стремлении достичь кромешной свободы считал Землю отнюдь не колыбелью, но тюрьмой человечества. Поэтому он не удивился, когда однажды прямо из библиотеки был доставлен в Тюрьму. Знаменитая «Матросская тишина» и Лефортовская тюрьма до сих пор оспаривают право установить мемориальную доску в честь Основателя на своих стенах. Кто победил в этом споре, сказать трудно, ибо доска установлена во внутреннем дворе и видна только нынешним, к тому же не вполне грамотным заключённым. Возможно, что подобные доски установлены и в других тюрьмах, чтобы поднять дух обитателей.

В тюрьме Основатель пробыл какое-то время без работы, потом в его одиночную камеру доставили все его записи и чертежи, а как он позже убедился, к ним добавились ещё и рукописные труды на данную тему неизвестных ему энтузиастов. Однажды появился человек, которого он сперва принял за надзирателя, ибо тот принёс две кружки кофе из цикория, себе и ему.

- Цикорий цветёт синим цветом, а вот кофе из него – чёрный, – вместо приветствия сказал он.
- Ночное небо тоже чёрное, но днём, когда оно цветёт, оно синее, – объяснил Основатель.

– Вот как? А ведь мы с вами видим в основном серое небо, даже днём, мне кажется, лучше уж сразу любоваться плодами, а не цветочками, – отвечивал надзиратель, и тут же сменил тему: – Такое же небо видел перед смертью народоволец Кибальчич. Что вы думаете о Николае Кибальчиче?

– О Кибальчиче? Гениальный мыслитель! Он перед казнью успел начертить космическое устройство, это было первой догадкой применить ракету для преодоления земной тяги...

– Ага, значит, покушение на земную тягу? Тянем-потянем... А вы знаете, за что был повешен Николай Иванович? – надзиратель достал трубку и начал её любовно раскуривать

– За что? М-да. Повешен... Как нехорошо оставлять человека между небом и землёй, когда он уже сам собой не распоряжается. Я в принципе против смертной казни в любом виде. Любая казнь бесполезна. Рано или поздно все будут воскрешены силой моей науки. И Кибальчич, который пытался приручить взрывы, и царь-освободитель Александр II, погибший от неуправляемого взрывного устройства...

– Так уж и неуправляемого! Всё управляемо. И объяснимо. Так вы понимаете теперь, за что вас несколько ограничили в свободе? Попытайтесь порассуждать! Кибальчич покушался на жизнь царя, как вы тут неосторожно заметили, освободителя, а потом стал чертить космические устройства! Покушение на Вселенную! И так, кое-какие устройства уже начертаны. На кого вы собираетесь покушаться?

– Как? – Основатель не ожидал подобного поворота мысли. Подобный поворот он бы вообще не отнёс к правильной мыслительной операции. Но по запаху едкого трубочного дыма он скорее ощутил, чем понял, что в такой атмосфере нельзя обсуждать сам ход мысли, а надо откликаться на её предметное содержание: – Я вообще против любого покушения на любую жизнь, я перед жизнью благоговею, хотя давно её не наблюдаю. Я же говорил, рано или поздно все будут воскрешены, тогда я опять буду наблюдать жизнь.

– Так что, и царя вы нам опять воскресите? – недобро усмехнулся надзиратель.

– Раз все воскреснут, то и царь, – испуганно, но упрямо заявил учёный.

– Ну вот, получается, что мы и так и этак правы, задерживая вас здесь на неопределённый срок с вашими неопределёнными замыслами. Ну, воскресите нам царя, это, конечно, плохо, но его тут же взорвёт воскрешённый вами Кибальчич, что уже совсем неплохо, однако, зачем повторяться?

– Не взорвёт, – хотел было озвучить мысль Основатель, но тут же спохватился и промолчал, подумав, что ему дают неопределённый срок, то есть пока не казнят смертью.

– Казнить смертью мы вас пока не будем, – подтвердил его думу свирепый собеседник, – мы же вас не сможем, к сожалению, воскресить, если нам в будущем понадобится действительно кого-нибудь по нашему усмотрению воскрешать. Так что вам и карты в руки. Работайте. Ваше свободомыслие в вашем полном распоряжении!

За дверью раздались вопли, кого-то проволокли мимо по коридору, надзиратель отвлёкся от мрачных мыслей о свободе и счёл нужным разъяснить происходящее:

– Это, между прочим, истошный голос нашего осведомителя. Это он сообщил нам о вашем увлечении летающими предметами и указал нам на историческую связь этого увлечения с терроризмом. Вы удивляетесь? Он сидел рядом с вами в библиотеке и делал вид, будто читает литературу о переселении душ, на самом же деле он больше интересовался перевозкой мебели, но это неважно. Вы удивляетесь, почему он здесь? Но мы же не можем до бесконечности пользоваться его наблюдательностью, которая чем тоньше, тем грубее результат: мы же не можем заполнять тюрьму грузчиками-леваками, хотя левый уклон мы и не одобряем. С другой же стороны, нам и в тюрьме нужны преданные наблюдательные люди. Когда он не кричит, он по-прежнему занят: заглядывает в ваш глазок. Не насытитесь око видением! Вы наш двор уже видели? Не видели?

Он подставил табурет к окну и подчёркнуто услужливо под локоток подтолкнул заключённого подняться и выглянуть в окно. Во дворе по кругу двигались люди в полосатых робах.

– Это вам что-нибудь напоминает?

Основатель ещё постоял на носках, припоминая, откуда ему знакома эта картина, наконец, предположил:

– Как на картине Ван Гога!

– Именно, как у Ван Гога! – обрадовался надзиратель, выбивая трубку о каблук своего сапога. – Мы в своё время обратились к правительству Франции с просьбой выдать нам этого Ван

Гога. Он как-то изобразил довольно старые ботинки и стал от этого знаменит. Мы подумали, было бы справедливо для истории, если бы он запечатлел достойно мои новые сапоги. Однако правительство Франции ответило нам отказом, дескать, не располагают информацией о местонахождении некоего Ван Гога! Какие малокультурные люди! А у нас даже тюремный двор – произведение искусства!

Он помог собеседнику спуститься с табурета, и только тут заметил, что тот хромает.

– Жаль, что вы хромаете, а то бы мы вас хоть сейчас вывели на прогулку. Там бы вы и с Ван Гогом познакомились, он же всё равно к нам попал, это естественно, ведь художники недаром любят изображать собственное лицо в безликой толпе. Но у нас и сама толпа не безликая, хотя, если понадобится, все будут хромать, как и вы, в этом не слабость, а соборная нравственность замкнутого коллектива. Ещё замечу, маршируют-то одинаково, а хромает каждый по-своему. Мы иногда запускаем коллективную хромоту, чтобы при помощи её синхронного ритма замерить параметры подземных атомных испытаний, которые проводит наш противник неизвестно где. Вы знаете, что такое атом?

– Как же не знать! – возмутился учёный. – Я же построил непротиворечивую теорию восстановления бывшего тела уже истлевшего человека по тоскующим атомам...

– Тоскующий атом – это не наш атом, – перебил его надзиратель, – хотя мы найдём возможность и его развеселить. Наш атом – это неисчерпаемое оружие, которое хорошо ещё и тем, что совсем не ржавеет. Создатель этого оружия работает как раз в камере напротив. Это даже не камера, а свинцовый саркофаг, это на тот случай, если наш атомщик просчитается и взрыв произойдёт прямо в камере. Тюрьма при этом даже не пострадает. Считаю нужным вам сообщить, что и над вами потолок свинцовый, так что, если вам вдруг заблагорассудится при помощи вами начертанной ракеты выйти за положенные вам пределы, в лучшем случае вы попадёте в саркофаг над вашей камерой.

– Но я и не собираюсь лететь в космос из моей камеры! Я вообще не уверен, доживу ли я сам до осуществления моих проектов.

– Доживёте! У нас здесь хорошие специалисты по целесообразному продлению творческой жизни. Или доживёт отдельная от вас мыслящая часть. У нас уже разработана щадящая гильотина: у легкомысленных французов – рраз! – и тело больше не безобразничает, и голова не соображает, а у нас при хирургическом вмешательстве тело тоже больше не безобразничает, а голова соображать продолжает. Иногда уже и на более приличном теле. Что же до полёта в космос, то в космос вы, быть может, и не собираетесь, кто знает, что там, а вот в другую страну перелететь, почему бы нет? Вы же знаете географию! А что есть ваше изобретение как не подготовка массового перелёта целого народа из отдельно взятой страны да в тёплое местечко! Гуси-лебеди, тю-тю! Что вы так укоризненно на меня смотрите? Вы ещё сами не ведаете, что вам может прийти в голову, как только ваша модель заработает. Вам же всё хочется испытать, а нам всё предупредить нужно. Думаете, нам с атомщиком легко? Ну, создаст он нам оружие массового поражения, чтобы мир во всём мире укрепить окончательно. Но он же после этого может ввязаться в борьбу за права человека! Это что же, чтобы каждый, кому не лень, мог на эту бомбу права иметь? Одно дело – дураков бомбой окоротить, а как дураки тебе под нос эту же самую бомбу? Чудовищно!

Основатель глянул в свой свинцовый потолок и почувствовал, как это чудовищно, но ещё сильнее заняла в нём тоска по своим выкладкам и чертежам, чтобы никто ему не мешал обозначать корявыми значками свои воздушные грёзы. Надзиратель, кажется, уловил сквозь дым своей трубки эту воздушную тоску, поднялся из-за стола и с воодушевлением произнёс:

– Ну, так с Богом! Нас всех ждут достойные дела. А как, кстати, по поводу Бога? Поможет ли ваша ракета окончательно разоблачить его очевидное отсутствие?

– С Богом? – растерялся вычислитель. – Лаплас не нуждался в этой гипотезе, где там у меня кошатся уравнения Лапласа? Я ведь не работаю с очевидностями. Есть, правда, мнимые величины, корни из пустоты... С другой стороны, есть бесконечно малые величины, значит, возможны бесконечно далёкие или бесконечно высокие, это уж точно за пределами нашей тюрьмы.

– Смотрите у меня. Я полагаю, вам самому придётся осуществлять ваш безумный проект, так что, если наткнётесь на Бога, можете не возвращаться! А цикорий пейте, он смягчает нрав и продляет жизнь, – надзиратель забрал свою пустую кружку, вышел и замкнул за собой тяжёлую железную дверь.

Шло время, он думал, чертил, ставил опыты, воспитывал учеников. Читал популярные лекции: для политических – космополитизм космоса, для уголовников – космос в законе, для надзирателей – как охранять границы Вселенной.

Его старательно контролировали особисты. Если кто-то из уголовников не мог пересказать лекцию, то Основатель был обязан прочитать её в более кратком и более доступном виде. Иначе с политическими, в связи с расширением Вселенной они требовали того же количества слов, но в более затяжной период, они же настаивали на том, чтобы на этот период были сокращены сроки их заключения. Особисты поддерживали это требование, ибо таким образом политические ускоренно переходили в разряд уголовников, а это благотворно влияло на мировое общественное мнение.

Надзиратели забрасывали вопросами, когда наконец можно будет выйти на границы Вселенной, установить там контрольно-пропускные пункты и натянуть колючую проволоку через небесные сферы. Много спорили о наличии братьев по разуму: или их вообще нет, или в тюрьмах на других планетах такая хорошая охрана, что побег на нашу Землю практически невозможен.

Особисты опасались массового побега с лекций при помощи чертежей и схем, их пугала уже возможность свернуть чертёж в трубку, а это уже оружие. Однако ничего предосудительного не происходило, и Основателя уже начали подозревать, что все его расчёты ничего не стоят, что у него так ничто и никогда не полетит и не взорвётся. Тогда он сам предложил устроить в тюремном дворе фейерверк и очень воодушевился, когда это ему разрешили. Он стал готовить потешный космический флот к запуску. Заключённые прильнули к окнам камер, а для персонала была организована трансляция с места события, но на место события они старались не выходить, мало ли что.

Основоположник, подобно магу и волшебнику, был весь вечер на арене – на тюремном дворе, он поджигал петарды и жирандоли, метался от одной вспышки к другой, в грохоте взлетающих разноцветных огней тонул звон его цепи, – конечно, из опасения, чтоб он и сам не взмыл в небо, свободу его передвижения ограничили цепью, длину которой он рассчитал сам, чтобы её хватило на всю площадь тюремного двора. Тут уж он и сам был виноват, незадолго до этого он прочитал лекцию о движении тела с переменной массой, изображая этот процесс как последовательное сбрасывание цепей.

Праздник был признан как удачный, на полыхание волшебных снарядов мгновенно откликнулась пожарная служба, дюжина машин окружила тюрьму, но внутрь их не пустили, и пожарные, задрав головы, любовались полыхающими разрядами, пытаясь достать до них водяной струёй. По городу разнеслись зловещие слухи, будто изобретён новый вид смертной казни – катапультируемый электрический стул, что весьма ускоряет процедуру: приговорённого катапультируют, он ещё исторгает из себя электрические разряды, а на его место сажают тут же следующего осуждённого, всё это настолько современно и удобно, что на стул сажают уже и тех, кого ещё не успели приговорить. Поговаривали, что стул подарен нам американцами, но были и сторонники отечественного производства, убеждавшие в том, что стул создан у нас, но по американским чертежам, выкраденным нашей разведкой.

Слухи эти, скорее всего, понравились главному надзирателю, который в хорошем расположении духа посетил учёного.

– Как долго мы с вами не виделись? Лет одиннадцать, а то и все двенадцать, целый солнечный цикл! Слышал про ваш салют в нашу честь, похвально! Со мной даже советовались, не привлечь ли к этой огневой подготовке нашего атомиста, но что-то ему в саркофаг не смогли достучаться. Я всегда считал учёных чудаками, одни спешат пустить цветную пыль в глаза, другие прячутся и скрывают от народа свои достижения!

– Чудаки, чудаки, а как иначе, кому ещё в голову придёт то, что приходит им в голову, вот они и держат всё подальше у себя в голове, а то ведь что можно в ответ услышать, – мысль, изречённая, есть ложь, а дело, выставленное напоказ, тем более, – заступился за своего коллегу Основатель, а сам вспомнил слова атомщика, сказанные недавно на прогулке: – Эх, взорвал бы всю эту тюрьму, да боюсь, разнесёт и всё остальное!

– А это уже возможно технически? – спросил его тогда же Основатель шёпотом, оглядываясь на остальных прогуливающих, среди которых где-то ковылял акустик, работающий в области усиления слуха вплоть до улавливания писка мысли.

– Технически возможно, атомов полно вокруг, но громоздко, – прошипел в ответ атомщик, – с атомным зарядом всё ясно, но пока взрыватель получается в десять раз больше. Вот и мы тут ходим по кругу, как атомы по орбите... Если бы нам соответствующее ядро, да скорость побольше... Есть ещё одна мысль, как бы она на свежем воздухе не пропала... Мне кажется, что атом, как и каторжник в своей робе, полосат, а следовательно – несвободен... А если наоборот, каторжник из состояния частицы воспользуется своей полосатой одеждой и перейдёт в волновое состояние... Надо всё это додумать в саркофаге...

Основатель представил себе, что будет, когда эти идеи выйдут за пределы саркофага, за пределы тюрьмы и овладеют массами, но голос надзирателя вернул его к мрачной действительности:

– А я всё хотел вам показать ещё один наш саркофаг. Пройдёмте-ка по нашей тюрьме!

Он звякнул ключами.

– Как он это произнёс, по *нашей* тюрьме? Любовно, как будто по родной стране, – мелькнуло в голове учёного и тут же утонуло во тьме его старых мыслей.

– А вот тут, – излагал он по дороге, – полагает свои труды на алтарь отечества наш летописец. Какая тишина, слышите? Если прислушаться, то можно будет уловить мерное поскрипывание вечного пера. Ему созданы идеальные условия, никто не входит, да и ему выходить не надо. Чернила и новую бумагу ему подают вместе с баландой. Когда он углубится в прошлое, ему будут подавать пергамент, затем папирус и бересту. Стены камеры он может использовать по своему усмотрению, мы пока не вмешиваемся. Когда наша история закончится, а закончится она не скоро, его труды будут, несомненно, опубликованы и станут предметом обсуждения, а затем и изучения.

Он указал куда-то наверх и продолжил:

– А это могло бы вас заинтриговать, будь это в наших интересах. Там, этажом выше, отдыхает наш специальный агент, он доставил нам чертежи реактивного прибора, для взлёта которого приспособлен американский мыс Канаверал во Флориде. Мы проверили, не у вас ли украдены эти американские чертежи. Вас мы даже отвлекать не стали. К счастью, как выяснилось, они были похищены ещё из царской тюрьмы у террориста Кибальчича. Возможно, за эту халатность в работе с важными секретными документами и был на самом деле повешен известный вам Кибальчич. А у нас всё гораздо надёжнее! Уж до ваших формул и чертежей никто не доберётся. А если и доберётся, то здесь над ними и будет работать. На нас, а не на них!

Наконец они вошли в полутёмную, прохладную камеру, похожую на рентгеновский кабинет, где немудрено столкнуться с собственным скелетом. У освещённой фиолетовым светом стены стоял стеклянный гроб, в котором лежал в глубоко задумчивой позе лысый человек с редкими усами, одна рука на груди была сжата в кулак, как будто в нём была зажата последняя копейка. Нижняя половина тела терялась в темноте, отчего казалось, что это великан с бесконечными ногами.

– Кто это? – содрогнулся учёный.

– Это, если можно так сказать, наш заключённый номер 1. Его заслуга в том, что ради него и была создана вся тюрьма. Это, несомненно, выдающееся достижение. Но не главное. Обратите внимание, как он хорошо выглядит!

– Он мёртв? – в ужасе взирая на мумию, спросил учёный.

– В том-то и дело, что жив.

Заметив, что учёному, больше имевшему дело с сухими схемами, а не с живой жизнью, стало явно не по себе, надзиратель поспешил вывести его отсюда под предлогом, что здесь нельзя курить.

Уже в своей камере Основатель, как в полусне, различал смешанные с табачным дымом слова, дым давал им невечную синюю ускользящую плоть.

– Это у вас очень хорошая идея, дать народу надежду на вечность посредством далёкого космоса. Вы же предсказывали нашему народу, что он зарабатывает себе бессмертие, а затем начнёт воскрешать и другие народы, уже сошедшие с исторической арены. А чтобы не началась война за передел мира между воскресшими народами, им с вашей лёгкой руки будет предоставлено дополнительное космическое пространство со всеми удобствами. За тридевять земель! Правы были предки, когда рассказывали сказки. Отдельный космос для гуннов, свой космос для сарматов и скифов, главное, чтобы они и там не сталкивались, а, в крайнем случае, торговали. Вот мы вам сейчас не просто так ещё один саркофаг показали. Нам надо, чтобы вы и ему достойное место подыскали. Созвездие Льва или там Кентавра, вам виднее. Но вы уж не тяните долго, вы не думайте, мол, уж

он-то и так доживёт-дотянет. Мы, конечно, можем гордиться нашими успехами в области бальзамирования. Кстати, вы заметили?

Надзиратель так пыхнул трубкой в его сторону, что он закашлялся от чужого едкого дыма, но сквозь кольца его, наконец, увидел, на что ему указывают.

– Заметили? Сапоги! Видите, как блестят! Ночное небо, Млечный Путь! Это наши бальзамировщики создали такую уникальную вакуу для моих сапог, теперь даже если подмётки сносятся, голенища всё равно сиять будут! Ну, заговорился я с вами. Пора. Мне надо ещё потолковать с нашим архитектором. Ведь мы постоянно и неуклонно расширяемся. Надстраиваем этажи. Меняем орнамент решёток на окнах. Наша тюрьма, если бы было кому посмотреть на неё снаружи, пожалуй, самая красивая в мире!

И он ушёл, оставив учёного размышлять о блеске и бессмертии Вселенной.

* * *

Шли годы, чертежи становились приборами, приборы уносили на так называемые полевые испытания и не всегда возвращали. Росли ученики, самые способные из них сами заводили учеников, менее способные сами собой отсеивались, возможно, даже выходили на свободу.

Неоднократно ему доверительно сообщали о поимке шпионов, засланных в тюрьму только для того, чтобы выкрасть его секреты. Это для них надстраивал этажи архитектор. Видимый космос пока ещё не принадлежал никому, что противоречило священному принципу частной собственности. Собственники где-то на воле не дремали. Но об этих происках знали и принимали контрмеры. Бумага для всех его работ выдавалась с грифом «Совершенно секретно» и заранее была пронумерована, но даже названия просачивались за положенные пределы, эти названия уже настораживали и пугали: «Завоевание источников света без помощи тягловых животных»; «Овладение безвоздушным пространством негеометрическими методами»; «Вытеснение вакуума из мест довольно отдалённых» и т.д. Были и разработки не совсем по его специальности: «Засекречивание ещё несовершенных открытий путём озадачивания гипотетического противника».

Не так просто было шпионам просочиться в тюрьму, чтобы вплотную приблизиться к его секретам. Некоторые ради этого становились на зыбкий путь уголовников, принимались грабить по ночам несчастных прохожих, что им вполне удавалось, но добыча была обычно невелика, а надежда на то, что их при этом схватят, не оправдывалась. Контрразведка разгадала этот ход противника и тут же была расформирована, а правоохранительным органам было дано негласное указание не трогать ночных лиходеев, несмотря на ропот несведущего населения.

Тогда шпионы попробовали проникнуть в это легендарное место лишения свободы путём политической борьбы. На каждом шагу можно было увидеть броские вывески: «Тайное общество по опровержению русской идеи»; «Тайный союз потусторонних сил»; «Секретная служба содействия подрывным силам» и т.д. Но узниками совести им не удалось даже назваться, ибо политический плюрализм и всяческая толерантность были возведены на уровень государственных уложений. К тому же при высоком уровне экономики в стране не столь важна роль государства, а значит, и политический переворот, кем бы он ни замышлялся, особой опасности не представляет.

Ку-клукс-клан, еврофашисты, поборники введения на Руси норманно-алеутского правления и проч. были зарегистрированы в качестве действующих партий и движений, их представители получили свои места в Думе, некоторым лазутчикам пришлось даже обратиться к изучению славяно-греко-латинского языка, чтобы выдвинуться в спикеры или хотя бы вице-спикеры.

Оставалась ещё одна возможность – заполучить должность надзирателя. Однако эта лазейка давно была наглухо закрыта, так как эта должность традиционно была наследственной, если сам надзиратель не оставлял наследника по мужской линии, то им становился потомственный заключённый из числа тех, чей проект безнадежно провалился, и надо было следить за тем, как бы кому-нибудь не пришлось в голову его осуществить. Так в надзиратели в своё время перешёл автор проекта осушения Мирового океана. По этому проекту дно Мирового океана будет заселяться беженцами из районов, где осуществляются грандиозные проекты, не связанные с океаном, а только с сушей. Мировой океан при этом будет собран в огромный пузырь, который, как гигантский одуванчик, будет колыхаться над землёй. По его прозрачному стеблю вода будет рачительно распределяться для нужд остатков населения, а по более тонким сосудам будут транспортироваться рыбные запасы, крабы, осьминоги

и другая съедобная морская нечисть. По встречному путепроводу за небольшую плату будут пропускаться внутрь пузыря любители подводного плавания. Проект окупится ещё и за счёт сокровищ, затонувших ещё во времена пиратов, а также собранных со дна морей вполне пригодных ядерных реакторов с подводных лодок.

Проект провалился из-за мощного сопротивления туристических фирм, чьи клиенты привыкли отдыхать на берегах ещё не осушенных морей. Их поддержала комиссия независимых учёных, которая пришла к выводу, что подобный пузырь будет постоянно лопаться и заливать солёной водой не готовые к этому участки суши. А в период стабилизации этого мочевого пузыря планеты он будет являть собою увеличительную линзу, пройдя сквозь которую солнечный свет сфокусируется на земной оболочке и просто прожжёт её в самом неподходящем месте, тогда из недр грянет огненная лава и снесёт с лица земли все шероховатости, к которым следует отнести все следы цивилизации.

Узнав о провале проекта, исследователь так обозлился, что мог после этого служить только надзирателем, ибо для этой должности требовалась именно отменная злость.

Являющийся нашему герою надзиратель, видимо, достаточно срывал злость на других заключённых, с ним же как бы отдыхал душою, что, как мы видим, происходило не так уж часто. Прочие особы, не важно, в старых или новых сапогах, входили к нему в камеру подчёркнуто уважительно, во всяком случае, ногами на него не топали.

Однажды передали ему в камеру трубку с антенной, сказав, что это новейший радиотелефон, разработанный здешним специалистом по звукослуху. Он нажал указанную кнопку и услышал знакомый голос, прерываемый задумчивым выдыханием дыма.

– Сколько времени мы не виделись с вами? Ещё один солнечный цикл? А ведь за это время мы выиграли две войны, третью предотвратили, а четвёртую развязали там, где, как говорится, нас и в помине нет! И это не без помощи ваших приспособлений и приборов. Вы меня хорошо слышите?

– Хорошо, сейчас особенно хорошо, я же всегда был туговат на ухо, а сейчас слышу, хотя и не вижу! Я ведь давно хотел поговорить с вами, – признался учёный.

– Поговорить? Это хорошо! А о чём? – раздался заинтересованный голос в трубке.

– О жизни, о смерти, – начал издали Основатель.

– Э, любезнейший, на эту тему у нас с вами жизни не хватит. Тут у нас наш поэт об этом со мной поговорить рвётся. Его, правда, зарубежные поездки от этого отвлекают. У нас для этого специальная студия оборудована. Там тебе и тропики Рака, и трупы Нью-Йорка, и прочие джунгли. Международные успехи. Большие друзья нашего народа. Все там! Но жизнь там не наша... Расскажите лучше, как ваши успехи?

– На бумаге уже всё сходится. Я ещё хотел бы вас поблагодарить за вычислительную машинку, мне её от вашего имени предоставили, очень всё дело ускоряет. Спасибо!

– Ускоряет? Я рад, что ускоряет. Но благодарить не меня надо, а опять-таки ваших соседей. У них там, на воле, машинки эти были с трактор величиной. А у нас тут места не так уж много, вот они их быстренько довели до камерных размеров. А как ваши ракеты, всё ещё на жидком топливе? Не пора ли на твёрдое перейти?

– Перейдём, скоро перейдём, как только вся жидкость подсохнет, так на твёрдое и перейдём. Нам тут и атомщик со своей стороны помогает.

– Я так и надеялся, что атомщик непременно поможет, атом, он ведь очень твёрд, хотя и неисчерпаем. Значит, если корабль твёрдый, а топливо жидкое, то скорость ниже, чем при твёрдом топливе?

– Несколько ниже, – согласился Основатель.

– А вы не задумывались над тем, какие будут достигнуты скорости, если топливо твёрдое, а корабль будет жидкий?

Этот вопрос весьма озадачил Основателя. Будь он даже приговорён к неминуемой смертной казни, ему бы такая мысль даже на ум не пришла.

– Корабль жидкий? Это интересно... К этому наука ещё не подошла, возможно, ещё не созрела... Как вы это полагаете?

Надзиратель не помедлил с разъяснениями.

– Как? А как считать человека, он твёрдый или он жидкий? Мой опыт говорит, что человек – это звучит жидко! Так что если основная масса корабля – это люди, то и весь корабль, я полагаю, довольно жидкий!

Возражать надзирателю даже по телефону не было принято, но надо было как-то осознать, куда он клонит.

– Я думаю, что люди не всегда жидкие. Они могут сплотиться в массу. А когда более совершенные люди по моему проекту преобразуются в растения космоса, то они станут значительно твёрже.

– Твёрже? – оживился голос в трубке. – Это хорошо. Но пока ещё очень много отдельных жидких людей, которые никак не хотят слиться с массами. Я бы давно всех жидких отправил с вашей помощью за пределы нашего с вами космоса, чтобы только твёрдые остались. Нам твёрдым лететь некуда, да и некогда. Одна надежда – на вашу невесомость!

– Ну, невесомость ещё как следует не разработана.

– Это плохо. Если до космоса далеко, то нельзя ли пока эту невесомость к нам опустить? Железнодорожный транспорт разгрузим. Я уже не говорю о питании населения. Невесомому, я надеюсь, не понадобится так много баланды. А то у нас некоторые моду себе завели, французских поваров выписывают. Дворяне выписывали, и мы туда же. А ведь французская кухня тяжеловата для нашего желудка. Луковый суп с хлебом-сыром. Сыр-фромаж! Плесень ещё разводят французскую и швейцарскую. Будто у нас своей не хватает. Так как у нас с невесомостью?

– С невесомостью всё хорошо, но пока не у нас. Мы же только часть космоса, потому у нас может быть только самая малая часть невесомости. И вот в чём трудность, вес-то изменяется, а масса остаётся. Постоянная величина.

– С массой трудности? У меня тоже трудности с массами, массы, они у нас движущая сила истории. Но что-то история движется слишком медленно. Такой народ! А если народ лишит его веса, то можно ли доверить такой массе беспрепятственное движение вперёд? И потом, как он в невесомости нас поддерживать будет?

– Трудно сказать. Если все в невесомости, то и поддерживать никого не надо.

– Вот как? Ну и скоро вы полетите? Без поддержки!

В трубке раздавалось мерное посапывание. Основатель самым слухом прочувствовал плотность выкуренного дыма.

– До полёта ещё далеко, – заполнил паузу учёный и от собственного воображения закашлялся.

– Как далеко? – возмутилась трубка. – Это что, саботаж? Мы же условились, вы первый и полетите! Вы что-то не спешите испытать чувство законной гордости. А на вас уже и скафандр спроворили, наши специалисты по саркофагам постарались, всё подогнано, всё по мерке, даже одна нога короче другой...

Надзиратель не на шутку рассердился, он уже откровенно издевался. Учёный даже пожалел, что ещё не научился отключать радиотелефон. Да и руки как-то плохо слушались, могли не ту кнопку нажать. «Не та твёрдость в руках», – мелькнуло у него в голове, но ответить он поспешил по сути дела:

– Не могу я лететь. Рад бы, но не получится. Нельзя мне за пределы Вселенной, я же несимметричный, так что мне, скорее всего, пути не будет. То есть путь мне возможен только незамкнутый.

– То есть как несимметричный? И что это значит – незамкнутый?

– Вы же знаете, что я хромой, это даже скафандром не исправишь. Только саркофагом! (Он сам удивился своей смелости.) Подобная несимметричность искажает искомую траекторию, как бы ни старался её выровнять хромой пилот. Так что путь получается незамкнутый, то есть исключающий возможность возвращения в исходную точку.

– Вот как? Что-то вы загибаете! Абсолютной симметрии в природе нет. Я вот тоже несимметричный. Рука вот – хромает. Как такой рукой руководить? А я руковожу! И народ от этого не шатает! Но если вы настаиваете на своём, то полетит ваш сын. Мы уже давно его наблюдаем и пестуем. Способный парень. И симметричный!

– Мой сын? – учёный настолько ушёл в работу, что о жизни за пределами тюрьмы и думать забыл. Да и в пределах тюрьмы что он видел? Он вдруг представил себе с тоской, как разрослась масса младенца, которого он видел только в колыбели, однажды и второпях. Как он питается там, на воле? Хорошо бы, если бы в тюрьме, здесь еду подают регулярно. И как жаль, что он ещё не сделал необходимых шагов в сторону преобразования несовершенного человеческого организма в идеальное растение космоса, которому кроме воды и света ничего не понадобится.

– Мой сын? Но и он состоит, как и я, из атомов, а атом – несимметричный, – продолжал противоречить учёный, интуитивно защищая жизнь своего сына.

– Атом несимметричный? Ну, это мы поправим. Если организм состоит из нечётного количества атомов, то не исключено, что организм несимметричный. Тогда мы добавим в организм ещё один атом, тогда он будет состоять из чётного количества атомов и будет, соответственно, симметричным. У нас здесь атомов хоть отбавляй.

Разговор на этом оборвался. Затем без стука вошли в камеру два особиста и внесли очередное изобретение, как они его называли – видеотелефон. Они объяснили, что техника уже позволяет внести в его камеру так называемый телевизор, но зрелище событий, которые он передаёт беспрестанно, способно только угнетать тонкие чувства и парализовать всякую самостоятельную мысль. А по видеотелефону он может общаться выборочно, когда ему предоставят возможность выбора, а пока он будет время от времени соединён с главным надзирателем. Кофе с цикорием на время разговора будет ему передаваться, как и прежде, вручную.

Как только особисты вышли и в коридоре отзвучал стук их сапог, вспыхнул синеватый экран, и на нём обозначились рябые черты его постоянного собеседника. Надзиратель, видимо, возлежал перед монитором в своём кабинете, по скромности мало чем отличавшемся от обычной одиночной камеры. Висевшая на стене географическая карта с пучками стрелок и флажков говорила о том, что её хозяин увлекается военной географией. Итак, хозяин лежал под картой развязанных им сражений, вытянув ноги перед монитором, так что можно было видеть огромные подошвы его сапог, а лицо терялось где-то в перспективе.

– Я что-то нехорошо с вами недавно поговорил. Мне как-то не хватало вашей живой реакции, вот я и велел ускорить внедрение видеотелефона. К тому же мне захотелось сделать вам что-то приятное и увидеть вашу реакцию. Я решил наградить вас орденом Полярной Звезды. Думаю, что посмертно.

– Как посмертно? Я ещё не изложил все мои мысли! Я ещё не осуществил...

– Не увлекайтесь! И не волнуйтесь. Нам вовсе не нужны все ваши мысли! – утешили его сапоги. – Нам достаточно только некоторых. Да и человечеству нужно время, чтобы дорасти до некоторых из ваших мыслей. В общем, времени у вас ещё достаточно. Но вот о чём я сейчас подумал. Вы, кажется, давно не видели звёздного неба над головой? Сейчас вам по моему указанию сделают сюрприз.

Экран потух, и действительно, тут же за ним пришли и вежливо пригласили следовать куда-то вдаль по бесконечному коридору, где в окошечках камер его приветствовали странные ликующие лица. По пути особисты в полосатых пиджаках и при галстуках говорили ему увлечённо о каком-то новом мышлении.

– Что ещё за новое мышление, когда старое ещё не кончилось, а кое-где и вообще не начиналось? – пробурчал он на это, но они не унимались:

– Как же, как же, – объясняли ему новые полосатые, – у нас здесь давно один товарищ сидел в позе роденовского мыслителя. Дело в том, что в его камере он и высидел мысль, что объёмы всех камер надо свести до сидячих размеров. Экономия пространства высвобождает массу времени! Стоит только решительно ужать пространство, как тут же резко подскакивает количество самостоятельных мыслителей. Это и есть новое мышление, или по-иностранному – плюрализм. Затем небольшое количество ходячих собирают все мысли, высиженные сидячими, и дают им ход. Это приводит весь механизм в вечное движение... А сейчас мы покажем вам нечто, что у нас связывается с ходячими представлениями о свободе...

Его ввели в огромную камеру, он огляделся и ахнул: над ним сияло незабвенное звёздное небо, все созвездия оставались на своих местах, что говорило о том, что историческая эпоха ещё не изменилась. Накренившийся Орион, целеустремлённый Лебедь, Малая Медведица всё ещё не больше Большой...

Он вспомнил о своих калькуляциях по управлению погодой, дабы она из нелётной становилась лётной, о переориентировке вооружённых сил на решение климатических проблем, о создании оружия массового развлечения, от которого не будет индивидуальной защиты, и подумал о том, что надо как-то к лучшему изменить небо. Хотя надо ли? Приглядевшись, он различил, что камера напоминает колодец, и если со дна его можно обозреть Вселенную, то можно и всплыть, то есть взлететь в космическое пространство.

– А днём здесь можно проводить гонки по вертикальной стене на мотоциклах, – произнёс один из особистов, описав круговое движение рукой в кожаной перчатке.

– У стены внизу вы можете обнаружить свой старый велосипед, на котором вы когда-то ездили в библиотеку, всё в целостности и сохранности, у нас ничего не пропадает, – добавил второй особист.

Они ушли и оставили его одного, из чего он понял, что эта камера принадлежит ему, хотя бы на эту одну ночь, хорошо бы, чтобы это не была ночь перед казнью. Он долго и жадно вглядывался в яркие чертежи созвездий, с замиранием отмечал мерцание цефеид, радовался, что его зрение не так ослабло, как слух, он ещё мог различить в Большой Медведице «восседающую» восьмую звёздочку. Потом он стал с нарастающей досадой замечать, что звёзды на этом небе как-то недостаточно обращали внимание друг на друга. Хотя, впрочем, они казались более расположенными к Земле.

Пахло яблоками, он на ощупь нашёл стол и яблоки на столе. Он не видел, но слышал, что какой-то чужак разводит здесь яблоки прямо на столах. Надкусив яблоко, он скривился от его терпкости и подумал, что при подобной высоте каменного колодца вряд ли небесный охотник Орион мог бы высунуться выше своего пояса. Или это очередной удар ниже пояса со стороны главного надзирателя? Ему вспомнилось, как в детстве он бросал камни в заледеневшую гладь пруда с рассеянным лунным отражением, представляя себе полёт в околосолнечное пространство: Луна отражает Солнце, надо, отразившись от Луны, впитав её холод, попытаться ринуться навстречу колючему солнечному ветру! Он размахнулся надкусанным кислым яблоком и отчаянно запустил его в звёздное небо. Яблоко задело хвост Малой Медведицы недалеко от Полярной звезды и отразилось, отскочило вниз, в полную темноту. «Вот оно что. Птоломеева картина мира с неподвижным и твёрдым небесным сводом», – отметил он, прежде чем заставил себя догадаться, что это просто высокий потолок, искусно снаряжённый тюремными электриками.

Он долго не мог заснуть под рукотворным небом. Хотя планетарии считал он милым и полезным сооружением ради объяснения детям и простофилям упрощённой Вселенной, но он никак не хотел принять тюремный вариант мироздания. Вот так воспаришь, умчишься в крошечную бездну, дабы добыть людям новое знание или новую веру, вернёшься с грузом открытий, а тебе возьмут да и подсунут не ту планету, не ту Землю... Впрочем, он уже давно потерял представление о том, какая она, эта настоящая Земля, и чего от него ожидают настоящие люди.

Во сне он занялся просвещением звёзд.

Он летел в настоящем небе с мешком книг за плечами, и на каждой звезде он открывал библиотеку. Для каждой библиотеки он оставлял свой звёздный каталог, ведь с каждой звезды небо выглядит по-другому. Он видел в звёздном свете, как из корешков книг вырастет мыслящее растение будущего, не такое хрупкое и ломкое, как мыслящий тростник у Паскаля и Тютчева. Он чувствовал, как оно шелестит мудрыми мыслями. Звёздные величины сияют от счастья, подаренного им с далёкой и незаметной Земли.

От скопления ослепительного света он устремляется во мрак Вселенной, ибо мрак соткан из дыма сгоревших библиотек. Там он восстанавливает по атому, по шепотке праха сгоревшие великие книги. Наконец, он находит в целостности и сохранности многократно спаленную библиотеку древней Александрии. Как долго блуждал в пустоте её неразвёрнутый дым!

Он обнаружил, что дальше, под Полярной звездой, в которую упирается гибкая земная ось, находится чёрный омут, где оседают все утраченные на земле сокровища духа, они вгонялись туда по чёрному смерчу, скрученному всем подспудным тягостным земным сумраком. И всё это можно ещё вернуть!

* * *

Утром его разбудила необычная суэта. Было ещё темно, и электрические звёзды слабо горели на тюремном небе. Двери его исполинской камеры не были заперты, и он пошёл по коридору в сторону нарастающего шума. Заключённые выстроились перед своими камерами, двери были распахнуты. Кто-то напевал: «Америка, Америка...», им вторили другие: «Евразия, Евразия...» Перед телевизионной камерой стоял тюремный поэт в красной косоворотке и валенках и, перекрывая всех, оглушительно читал, размахивая свободными руками, не то про Великую китайскую, не то про Берлинскую стену, которая настолько гнила, что надо в неё обязательно ткнуть.

Особисты были в подчёркнуто белых, уже без полос, костюмах, отчего казались привидениями в полумраке коридора. Они были уже без сапог. Наконец, он настиг чопорную процессию – группа аккуратных карликов в чёрных халатах торжественно несла на своих плечах прозрачный гроб. Он узнал карликов, это были микробиологи, они были призваны разрабатывать биологическое оружие. Кто-то из особистов в своё время решил, что микробами должны заниматься карлики, им виднее. Они же следили за тем, чтобы микробы не досаждали заключённому № 1. Но не он, как мне показалось,

не заключенный № 1 плыл в гробу на узких плечах микробиологов, а мой надзиратель, только уже без трубки, но в тех же сияющих сапогах.

Уголовники в такт их шагу стучали в стену оловянными площадками. Политические молча вздымали вверх сухие кулаки. Куда его несут? На какую свободу? Он мёртв? Или всё ещё жив? Его бледное усатое лицо не давало никакого ответа.

Куда его несут?

Наконец его медленно внесли в двери саркофага, под свинцовой защитой которого когда-то жил и работал легендарный атомщик. То-то его давно не было видно! Значит, он завершил свой труд, ведь по завершению своего труда учёные, как правило, исчезали неведомо куда. Тяжёлая дверь закрылась, и все стали расходиться по своим местам. Карлики поспешили к своим микробам, за ними и поэт, всё ещё указывая пальцем на стены и призывая обязательно ткнуть. Уголовники перестали стучать площадками, потому что туда уже успели плеснуть баланду, сделали это почему-то политические. Особисты на ходу снимали белые пиджаки, видимо, им было необходимо переодеться.

Основатель было сунулся в свою прежнюю камеру, но дверь была заперта, как будто там уже поселился новый жилец.

Он захромал в сторону своего колодца. Когда он прошёл сквозь стену, он едва не ослеп от сияния дня. Небо было голубое и настоящее. А на дне колодца, посередине двора, стоял готовый к старту космический корабль, нацеленный на Полярную звезду, чёткое воплощение его чертежей и расчётов. Уж не поставлен ли он здесь для заключённого № 1? Или?

Что за глупые мысли, тут же спохватился Основатель. И вообще, что такое мысль? И вдруг его охватила мучительная тревога: а где мой сын?

Говорят, что он поднялся на корабельном лифте в хорошо подогнанном скафандре, занял место пилота в голове ракеты, сам себе сказал: – Поехали! – и запустил двигатель на твёрдом топливе.

Хотя злые языки не устают утверждать, что он просто застрял в лифте.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СЫН

Он долго искал камень, чтобы его бросить в пруд, нашёл, бросил, и по воде пошли круги, дёрнув луну за серебряную пуповину и рассыпав новорождённый свет в рассерженные волны. Второй камень искал он ещё дольше, и, когда он швырнул его, тот отпрянул от воды, никак не повлияв на лунный осадок, потому что пруд затянуло льдом.

Время собирать камни.

А где их возьмёшь, если все они давно что-то подпирают, чему-то противостоят? Пирамиды, пьедесталы, колонны... А иные заброшены в тину тихих заводей, где они едва блестят недоступными светляками в перевёрнутом омуте неба.

Ночью он имел право отдыхать от калейдоскопа дня, где его облик был разбит на множество подобий, где его рот коллекционировал улыбки, по глазам, словно рябь по воде, пробежали проблески разных по оттенкам, но мудрых по сути мыслей. Лицо, уставшее от ликующих, полных надежды взглядов, руки, набрякшие благодарными рукопожатиями. Отнятый от его гортани голос в положенные часы сопровождал ожившие слепки с его лица, обещая зрителям и слушателям то, чего им всем не хватало.

Время.

Он обещал Время.

Как пчела на обножке принесёт в свой улей накопленную цветком питательную пыльцу, так он призван выбрать созревшее на почве истлевших звёзд мировое время. Именно он, и никто другой. А они с лёгким сердцем могут пока продолжать утрачивать своё настоящее время.

Его долго готовили для небывалого подвига. С самого детства. И потому у него не было собственного детства, хотя уже тогда предполагалось, что это добавляет детства всем прочим.

Когда дети носились друг за дружкой, оставляя каждому вероятность догнать другого и в то же время при старании надеясь убежать от любого, он был за пределами этих игр, он должен был тянуться за взрослым наставником, который вёл его за собой, исходя из продуманных скоростей, ускорений

и внезапных остановок. Когда дети купались, будто они впервые попали в воду, он должен был повторять движения наставника, который, казалось, родился в воде.

Он научился любить землю, отталкиваясь от неё ногами. Он научился любить воду, проскальзывая сквозь неё, подобно обтекаемому существу, для которого голова служит носом. Он полюбил воздух, ибо с ним вдыхал в себя всё небо, приобщавшее его к высочайшему огню, до которого ему ещё суждено будет дотронуться.

– Дыши, дыши, – подстрекали его наставники, – тебе ещё придётся не дышать или почти не дышать целую вечность!

Он учился затаивать дыхание под водой, и когда он выныривал, то чувствовал не только вкус, но и цвет воздуха, который из синего в его лёгких мгновенно становился красным, а, пройдя сквозь камеру сердца, сгущался и темнел, как терпкое вино, которым его не баловали, но и не лишали с достижением зрелости. Ему исподволь загадывали загадки: старше ли его это вино или моложе и насколько, когда его сняли с лозы, какое стояло в ту пору лето – и чем старше он становился, тем более старое вино доверяли ему на пробу. И надо было угадывать местность, где оно родилось, высоту над уровнем моря, удалённость от розы ветров, и всё это не для того, чтобы в предполагаемом обществе блеснуть отточенностью праздного вкуса, но чтобы уметь определить, оказавшись в неизвестном краю, что это за край, по запахам, по привкусу надкушенной травы, по заложенной в этой земле толике солнца, по томящемуся именно в этом колодце неба настою времени.

Не все из наставников настаивали на том, что время настаивается только в вине, сгущаясь до доступной многим поколениям истины. Однако идея выдержки казалась пригодной для его воспитания, он как бы накапливал время в себе самом, пока сам себя ещё никак не проявил, зато он и не выдыхался.

Приятно было сознавать, что время бывает белое и красное, а также розовое, оно бывает сухое, бывает в меру – хорошо, если в меру – сладкое, оно приятно бьёт в голову, если оно шипучее. Особенно приятно его делить вдвоём, тогда его становится больше даже при самом малом исходном разливе, ибо оно обрастает обходительностью, взаимностью и любовью.

Время, как гроздь, зависит от земли, воды и солнца, от каприза ветра и лёгкости облаков, оно начинается весной и замирает поздней осенью, и это почти неизменно. Становясь вином, время зависит от бочки, от пошедшего на её бока дерева и уже почти не зависит от безразличной к её вкусу бутылки, в которой самое важное – пробка.

Он знал, что среди теоретических разработок, от которых зависит результат его будущего полёта за временем, проблема пробок является наиболее сложной. Уже предполагалось, где находятся залежи времени. Если бы Вселенная имела форму бочки, что не так уж далеко от истины, то время бродило бы где-то на её дне, а до нас доходило бы только редкими пузырями, их-то мы и транжирим, деля на зоны, века, дни и секунды. Но эта бочка ещё и вращается, подобно центрифуге или стиральной машине, потому время завихривается спиралью и отбрасывается на самые края вместе с галактическими туманностями, потому в мощные телескопы, даже несмотря на чудовищную удалённость, видно, что в этих туманностях заблудилось немало времени, возможно, даже и затонуло на дне четвёртого измерения. Красное смещение намекает нам не только на разбегание галактик, но и на красный цвет втуне исчезающего времени и на преимущество красных вин по отношению к белым. Он проходил – вернее, пробегал – все эти научно-небесные соображения; один наставник вёл его молча, всегда забегая вперёд, а второй, чуть отставая, диктовал ему на бегу скороговоркой то знание, которое не требовало формул и графических иллюстраций. Эти наставники передавали его друг другу как эстафету, ведь уставали они, вещая скороговоркой, быстрее, чем он, внимающий на бессловесном дыхании. Менялась при этом и тема: например, состояние вакуума внутри ближайшей Вселенной, стереометрия цветка зонтичных растений, разница в поведении рабочих пчёл и трутней в условиях магнитных бурь, пророчества древних атлантов и гипербореев о роли государства Российского в грядущем подъёме Атлантиды и так далее.

Знание более плотное преподавалось во время плавания, как только он выныривал, чтобы вдохнуть воздух, вместе с ним он проглатывал афоризмы о смысле жизни, вроде того, что человек – это гигантски разросшийся сперматозоид или что человек рождён для счастья, как птица для перелёта в Африку, тут же ему называли некоторые мировые константы – постоянную Планка, золотое сечение, число «пи», величину которых он должен был себе вообразить уже под водой, выпуская на поверхность соответствующего объёма пузыря, причём никто не мог выдуть квадратный пузырь, что говорило об иррациональности мира и невозможности кубатуры шара.

Следы мудрости отпечатывались в его мозгу гораздо надёжнее, чем его собственный след в воздухе или в воде, а ему придётся хранить эту мудрость в далёком вакууме, чтобы её не высосало в пустоту. Снова проблема пробки! И он, будущий сосуд всеобщего нового времени, в отличие от личностей, оставивших в человеческой истории цепочку значительных следов, был включён в сонм бессмертных, ещё не совершив заданного подвига. Это было обоснованно, ведь, когда он совершит свой подвиг и замкнёт кривую своего полёта, его встретят (согласно теории относительности) уже другие поколения, и они едва ли будут помнить даже кого-то из его достойных современников, ибо не будет для них такого свершения в прошлом, сравнимого с его неизбежным подвигом ради их будущего.

Вот его ещё и увековечивали. Когда с него ещё живого снимали гипсовую маску, он воспринимал это как очередной опыт затаивания дыхания. Вспышки фотографов предвворяли ощущение полёта среди недолговечных сверхновых звёзд, которые выслаивали из него плоскостной срез за срезом, но были изготовлены и голографические его облики, из которых предполагалось ещё соорудить единое монументальное его представление. Со временем, подходя к окну, он сам себе казался своим поясным портретом; распахивая дверь, он вписывался в проём портретом во весь рост; когда он бежал без лыж по снегу, он видел за собой, даже не оглядываясь, след легендарного снежного человека, а море он любил за то, что оно быстро смывало его следы.

Его вводили в заблуждение зеркала, в них он казался себе не столь значительным, как на портретах; он старался не обращать на них внимания, тем более что определить, правильно ли сидит на нём головной убор, можно было и на ощупь.

Однажды его посетил ночной кошмар: как будто его лицо несут на пластиковом пакете, набитом луком, и, хотя лук не был нарезан, из его глаз лились слёзы, кто-то из прохожих доброжелательно указал: «Смотрите, у вас пакет протекает!» Он в ужасе проснулся, бросился к зеркалу, чтобы убедиться, не из пластика ли его лицо и нет ли на нём не приличествующих ему слёз. Когда он поделился этим переживанием с наставниками, ему категорически запретили рассматривать человечество ниже уровня головы, а зеркало из его покоев убрали, рекомендовав при ночных кошмарах вызывать дежурного.

Отвлекаться на чтение писем восторженных поклонниц и завистливых поклонников ему не было положено, на них отвечали отзывчивые грамотеи, имеющие опыт собственного сочинительства, никому не нужного, но тут у них создавались все условия для ответственного творчества. Девушкам из кругов, к нему не допущенных, они сообщали, что да, встреча возможна, но только после его возвращения, когда у всех будет достаточно времени. Юношам они подтверждали принципиальную возможность повторения его подвига, но это лишь в случае, если его подвиг не состоится и уже не будет времени на подготовку такого же, как он. Тем, кто сомневался, доживут ли они до успешного завершения его космической миссии, предлагалось беречь своё время и таким образом обязательно дожить, но не забывать и вкладывать своё личное время как капитал в детей и внуков. В заключение они, как правило, добавляли, что примут все меры по улучшению работы почты.

Летать он начал раньше, чем бегать, но позже плавания. Сначала это были полёты с наставниками, он привыкал к высоте и скоростям, необычным для неоснащённого тела, он сразу понял, что управлять самому летательным аппаратом и одновременно заучивать, скажем, главы из истории о редком сочетании власти и интеллекта в лице фараона Эхнатона весьма затруднительно, даже пролетая в ясном небе над египетскими пирамидами, и, как бы велик ни был мудрый царь Ашока, следов его мудрости на азиатской земле нельзя было различить. К самостоятельным полётам его допустили одновременно с введением в его жизнь обязательных женщин, в расчёте на то, что одна из них в своё время привяжет его к себе настолько, что эта привязанность станет залогом его возвращения из окончательного полёта.

Кроме всего прочего, женщина была ему предписана для ощущения тех нюансов тяжести и невесомости, которые недостижимы ни при нырянии, ни при подъёме на снежные вершины, ни в пикирующем полёте. Называя свои знаки Зодиака, они преподавали ему наглядную астрологию, ему становился ясней тот ближайший Млечный Путь, первый слой, который придётся ему преодолеть. Наставники оставались при этом в тени, где они вычисляли, когда и с кем он погрузится в очередной раз в собственную тень, каковой он считал женское тело. Он и входил в него как в собственный след, не смытый морем и порывами ветра.